

ЖАН ЖОРЕС О ТОЛСТОМ

ДОКЛАД В ТУЛУЗЕ

Сообщение Н. Д. Эфрос

Доклад о Толстом, произнесенный Жаном Жоресом в Тулузе 9 февраля 1911 г., указывается французскими библиографами среди основных речей и статей знаменитого французского социалиста и трибуна (см., например, Georges Tétard. *Essais sur Jean Jaurès, suivis d'une bibliographie méthodique et critique*. Colombes, 1959, p. 185—187).

Текст доклада сохранился в стенографической записи, напечатанной на другой день после выступления Жореса в тулузской газете «*Midi Socialiste*». Стенограмма появилась затем в мартовском номере журнала «*Revue Socialiste*» за 1911 г.; в том же году вышла вместе с речью Анатоля Франса о Толстом (см. в настоящ. томе на стр. 126—130) отдельным изданием (Anatole France. *Jean Jaurès. Deux discours sur Tolstoï*. Paris, <1911>), а в дальнейшем перепечатывалась в сборниках избранных сочинений Жореса.

Кроме доклада, прочитанного в Тулузе, известно еще одно выступление Жореса о Толстом* — статья, напечатанная в «*Humanité*» 18 ноября 1910 года. Это выступление связано со смертью Толстого, посвящено памяти писателя и дает сжатую характеристику его личности и творчества (см. в кн.: Б. Мейлах. *Уход и смерть Льва Толстого*. М.—Л., 1960, стр. 323—324 и в полный текст обзоре Л. Р. Ланского. *Уходи смерть Толстого в откликах иностранной печати*, кн. 2-я настоящ. тома).

В противоположность этому краткому высказыванию, тулузский доклад содержит развернутое изложение мыслей Жореса о Толстом. Однако он до сих пор не привлек к себе внимания наших исследователей, за исключением Т. Л. Мотылевой, сославшейся на него в статье «Мировое значение Льва Толстого» («Советская книга», 1946, № 1, стр. 41).

В переводе на русский язык доклад печатается впервые.

* * *

С сообщением о Толстом Жорес выступил в пользу тулузских железнодорожников, лишившихся работы за участие во всефранцузской железнодорожной забастовке, происходившей в октябре 1910 г. и жестоко разгромленной правительством, возглавлявшимся Аристидом Брианом.

Доклад был прочитан на литературном утреннике в помещении театра «*De Variété*». В программу утренника входил также показ инсценировки романа Толстого «Воскресение».

* Впрочем, многочисленные статьи и речи Жореса, рассеянные в периодической печати, все еще остаются не собранными, и полное собрание его сочинений до сих пор не увидело света. Не опубликована и значительная часть его переписки. Таким образом, здесь не исключены любопытные находки.

По свидетельству современников, выступление Жореса явилось подлинным событием местной жизни, вызвало самый широкий интерес и прошло с исключительным успехом. Огромный зрительный зал театра, писала газета «Midi Socialiste», был переполнен желающими «услышать мысли великого Толстого в трактовке величайшего оратора современности». Здесь можно было видеть «представителей всех классов тулузского общества — знатных аристократических дам, военных высших чинов, множество судейских, адвокатов, весь преподавательский персонал округа», и все они «наравне с рабочими аплодировали Жоресу». Послушать его съехалось много народу из Бордо, Каркассона и других, расположенных по соседству городов. Билеты были заранее раскуплены, и продажа их дала превосходный сбор («Midi Socialiste», 10 февраля 1911 г.).

Успех доклада подтверждает и другая тулузская газета. Речь Жореса, сообщает она, «неоднократно прерывалась шумными аплодисментами и возгласами одобрения» («Dérêche», 10 февраля 1911 г.).

Венсан Ориоль, будущий президент Французской республики, тогда редактор «Midi Socialiste», ученик и друг Жореса, вспоминает: «Как сейчас вижу его (Жореса) в 1910 г.* выходящим из поезда на вокзале в Тулузе, куда он приехал прочесть доклад о Толстом в пользу уволенных железнодорожников: в одной руке — маленький чемоданчик, в другой — четыре книжки, в которых пальцами были заложены страницы. Мне не удалось отобрать у него чемодан. — «Это угодливость», — говорил он; а тем более книги — он боялся потерять отмеченные места. На другой день, во время прогулки, он занимал нас — своего юного племянника и меня — беседой о Толстом, а вернувшись к себе, в один присест набросал на десяти листах большого формата план и основные положения своего доклада. Несколько часов спустя, не пользуясь ни единой записью, он произнес свою речь — подлинный шедевр. И когда, толкуя стих псалма, весь отдавшись порыву, словно увенчанный сияющим ореолом, преображенный, он бросил свои заключительные слова, то так увлек всю громадную аудиторию, что стенографы в оцепенении остановились... Две жалкие, симпровизированные ими строчки заменили в их тексте этот блистательный абзац.

Мне нужно было в тот же вечер напечатать речь в нашей газете, и я немедленно разыскал Жореса и попросил его восстановить заключительные слова. Он отказался, сославшись на то, что никогда не правит своих корректур. «Это уже конченное дело», — заявил он. Затем, уступив, зачеркнул обе строчки и, не задумываясь, твердым почерком заполнил четыре больших страницы, где слово в слово оказалось воспроизведенным всё, что мы перед тем слышали» («Jean Jaurès présenté par Vincent Auriol». Paris, 1962, p. 3—4).

* * *

Известно, что Жорес славился исключительным знанием мировой классической литературы. Большой интерес проявлял он также и к творчеству современных ему писателей. «Несмотря на чрезвычайную занятость парламентской работой, на почти ежедневные статьи в „L'Humanité“, на участие в многочисленных социалистических митингах, конгрессах и т. д., у Жореса оставалось время следить не только за французской, но и за всей европейской литературой», — вспоминает М. П. Вельтман (М. П а в л о в и ч. Смерть Жореса. Из дневника эмигранта. Пг., <1916>, стр. 19).

Среди писателей-современников, привлекавших внимание Жореса, его биографы рядом с Анатолем Франсом и Золя прежде всего называют Толстого. Но, причислив Толстого к любимым писателям Жореса, биографы этим и ограничиваются. В литературе о Жоресе мы не найдем анализа его отношения ни к творчеству Толстого в целом, ни к отдельным

* Описка или ошибка мемуариста. Речь была произнесена в 1911 г. — Н. Э.



*Cordialement à
Paul Birukoff
Franz Masereel
mai 1917*

ТОЛСТОЙ

Рисунок бельгийского художника Франса Мазереля (тушь, белила), 1910 г.
С дарственной надписью: «Дружески Павлу Бирюкову Франс Мазерель. Май 1917 г.»
Музей Толстого, Москва

произведениям русского писателя. Отсутствуют и его оценки общественно-политических воззрений Толстого. Сам Жорес лишь вскользь касается этих вопросов в своих выступлениях, посвященных Толстому. Между тем его точка зрения как политического деятеля и социалиста в данном случае особенно интересна. Нам представляется, что материалом для суждения здесь могут до известной степени служить публикации о Толстом в газете «Humanité» в период редакторства Жореса* (см. об этом ниже в нашей заметке: «Толстой на страницах „Humanité“»).

Характеризуя отношение Жореса к России, исследователи его жизни и деятельности отмечают резкое различие оценок, которые он давал русскому правительству и русскому народу. Подвергая суровой критике царя и самодержавный режим, он с неизменной симпатией отзывался о русском народе. Начиная с 1903—1904 гг., почти каждое упоминание о нем Жорес сопровождал эпитетом «великий», «героический» и т. п. и предсказывал ему «блистательное будущее» (см.: Félicien Challay. Jaurès. Paris, 1948, p. 62; Ж о р е с. Царизм и погромы. Неизданная во Франции речь. Перевод с французского. 2-е изд. Пг., 1917, стр. 12. Речь была произнесена весной 1903 г. в Париже на митинге-протесте по поводу Кишиневского погрома). Незадолго до смерти Жорес высказывал желание изучить русский язык (см. Louis L e v y. Anthologie de Jean Jaurès. Paris, 1946, p. XVII).

Большая положительная роль, которую сыграли русские писатели, и, в особенности, Толстой, в пробуждении на Западе интереса к России,— хорошо известна. Можно думать, что и Жорес своей симпатией к России в какой-то степени обязан Толстому.

* * *

В связи с темой «Жорес о Толстом» возникает вопрос: что знал о французском социалисте автор «Воскресения».

Толстой знал о Жоресе и по его парламентским выступлениям, и по участию в деле Дрейфуса; есть сведения, что он читал его книгу: «Etudes Socialistes» (Jean J a u r è s. Etudes Socialistes. Paris, 1902). Он упомянул Жореса в статье «Единственное средство» и в «Письме к революционеру», в обоих случаях назвав его имя как нарицательное, рядом с именами основоположника научного социализма и вождями международного рабочего движения. «Рабочий <...>, — пишет Толстой, — знает Маркса, Лас-сала, следит за деятельностью Бебелей, Жоресов» (т. 34, стр. 268), и в другом месте: «...горы книг написаны и пишутся Марксами, Жоресами, Каут-скими <...>, о том, каким <...> должно быть человеческое общество» (т. 38, стр. 265).

Но, причислив Жореса к виднейшим социалистам, признавая его роль и значение, Толстой относился к нему с тем недоверием, какое вызывали у него все политические деятели. Поль Буайе, французский ученый-славист, бывавший в Ясной Поляне и оставивший записи бесед с Толстым, передает следующее высказывание Толстого от 21 сентября 1902 г.: «На днях я читал статьи и речи Жореса, вышедшие отдельным сборником, чего только нет в них! Тут и рабочий вопрос, и сахарная конвенция, и Гагская конференция. Тут решительно все и ровно ничего. Должно быть талантливый оратор этот Жорес. Мне кажутся забавными претензии социалистов провидеть будущее» («Биржевые ведомости», 1902, № 291, 25 октября. «У Л. Н. Толстого» — перевод статьи П. Буайе, напечатанный в «Темре» 4 ноября н. с. 1902 г. Цит. по т. 54, стр. 493. См. также Paul B o u y e r. Chez Tolstoï; entretiens à Jasnaïa Poliana. Paris, 1950, p. 55).

* Т. е. со дня основания газеты 18 апреля 1904 г. по день трагической гибели трибуна — 31 июля 1914 г.

Отрицательное суждение о Жоресе Толстой высказал более решительно два года спустя другому французскому посетителю — журналисту Жоржу Бурдону. Разговор происходил в марте 1904 г. в начале русско-японской войны. В воспоминаниях о пребывании в Ясной Поляне Бурдон рассказывает, что в одном из разговоров Толстой затронул вопрос об отношении социалистов к войне. Он утверждал, пишет Бурдон, что «социалисты не отрицают по-настоящему войны<...>, не освободились, как следует, от древнего воинственного инстинкта. Как только дело коснется патриотических интересов, их не отличишь от буржуа». Возражая Толстому, Бурдон говорил о неподдельном миролюбии французских социалистов, ссылаясь на речи Жореса, на замечательные душевные качества трибуна, его безупречную честность, на мужество, с каким он защищает дело мира, несмотря на оскорбления и нападки, которым подвергается не только со стороны правых, но и со стороны левых. Но все это не убедило Толстого. «Толстой, — продолжает Бурдон, — качает головой: „Слова, одни слова. ... Стоит так называемому патриотическому вопросу завтра встать перед французским парламентом<...>, стоит только разгоряченному общественному мнению высказаться в пользу войны<...>, Жорес не устоит и будет голосовать вместе с теми, кто сегодня смешивает его с грязью“». А на реплику Бурдона, что Жорес как политик должен считаться с реальной обстановкой, сказал: «Каждый политический деятель поневоле является оппортунистом. В этом-то и главная беда», — и безнадежно махнул рукой (Georges B o u r d o n. En écoutant Tolstoï. Paris, 1904, p. 68—71. Русский перевод см. в кн. 2-й настощ. тома.)

* * *

Свое выступление в Тулузе Жорес посвятил преимущественно характеристике этических и социальных идей Толстого, а также общей оценке его личности и взглядов с точки зрения основных вопросов демократии и социализма. Толстой, говорит Жорес, «оказал воздействие на умы и жизнь всех народов», но сила, которой «он покориł человечество», кроется не столько «в огромном творческом его наследии», сколько «в его сложной, возвышенной личности». В Толстом, утверждает оратор, «люди чувствовали, что он «больше и лучше, чем только писатель <...>, художник <...>, мастер слова, непревзойденный творец человеческих образов», в нем чувствовали человека, которого «терзала мысль о судьбах людей».

Жорес останавливается на духовном — «мистическом», как он его называет, кризисе, пережитом Толстым в 1880-е годы. Он оспаривает мнение, будто этот кризис был чем-то неожиданным, внезапным. Желание «постижть смысл жизни», «сообразовать свое поведение с высшим идеалом», «страстная, непримиримая любовь к правде», указывает он, пробудилась в Толстом еще в юношеском возрасте. Элементы, определившие духовный переворот Толстого, «как соль в океане», по образному выражению оратора, всегда составляли неотъемлемую особенность душевного склада великого писателя. Кризис не внес ничего нового, а лишь наглядно выявил и обострил эти элементы. Жорес подчеркивает первостепенную роль «нравственных проблем» во всех художественных произведениях Толстого, начиная с самых ранних. Толстого «неизменно привлекала душа человека», которую он «никогда не принимает», сохраняя «уважение и веру даже к падшему человеку». Жорес обращает также внимание слушателей на «страстное жизнелюбие» Толстого, сосуществующее с «готовностью пожертвовать собою ради других».

Рядом с основной темой в докладе затронуты и некоторые частные. Так, Жорес отмечает особое место, которое занимает у Толстого изображение леса, сравнивает описание внешнего мира у Толстого и французских писателей — Бальзака, Жорж Санд, Флобера и Золя.

Переходя к анализу религиозно-философского учения Толстого, оратор прослеживает путь мучительных исканий, итогом которых явилось это учение. Однако Жорес далек от исторического осмысления взглядов Толстого. К их характеристике он подходит в основном с точки зрения личности писателя и его психологии. В основе толстовского мировоззрения лежит, по определению Жореса, «ясно выраженная идея всеобщей любви и всеобщего братства», но теории Толстого, говорит он, страдают «чрезвычайной противоречивостью». В них сочетаются «бунт и смирение», «новаторство и рутинерство», «революционное и традиционное христианство». В особенности же противоречиво отношение Толстого к народу. Несмотря на всю любовь к нему, Толстой, утверждает докладчик, «отвернулся бы от народа, если бы тот <...> отказался от пассивного сопротивления, которое он хочет ему навязать».

Жорес считает социальное учение Толстого нежизненным*, а его огульное, как он думает, отрицание цивилизации и науки — неприемлемым.

«В великом ораторском искусстве Жореса нет ни малейшего элемента „искусства для искусства“, — пишет французский исследователь Луи Леви. — Речи Жореса лишены всякой аффектации, литературного кокетства. Единственная цель, которую преследует оратор, — это „убедить своих слушателей“. Каждая речь для него — „реальное дело“» (Louis Le v y. *Anthologie de Jean Jaurès*, op. cit., p. XXIV). Ту же задачу ставит перед собою Жорес в речи о Толстом. Сказанное в ней — не только теоретические размышления и не просто дань памяти и признания любимому писателю. Жорес связывает свою характеристику личности и учения Толстого с пропагандой того дела, которому посвятил собственную жизнь, — дела «установления нового, более справедливого общества».

Наследник и продолжатель в новых исторических условиях традиций французского гуманизма, Жорес придавал большое значение моральным факторам борьбы за общественный прогресс, за торжество идей социализма. Вот почему так дорог и близок был ему Толстой, его нравственные искания. Несмотря на «попутно сделанные мною критические замечания и оговорки, — говорит Жорес, — все мы „должны быть бесконечно благодарны человеку <...>, который напомнил нам о моральном смысле и значении жизни“, который видел этот смысл „в простоте и чувствах товарищества“». По словам оратора, проповедник мира и любви, Толстой, предсказывает неминуемую гибель современного общественного строя, который падет «не только в результате гневных требований угнетенных, но и в результате глубокого возмущения людей с благородной душой». В заключение Жорес обращается ко всей многочисленной аудитории, ко всем «людям доброй воли», как мы сказали бы сейчас, с призывом прислушаться к голосу Толстого.

Выше мы привели свидетельства современников об огромном впечатлении, которое произвело тулузское выступление Жореса. Разумеется, успеху доклада способствовало замечательное ораторское искусство прославленного трибуна. Но и стенографическая запись сохранила оригинальность его мыслей и изящество их изложения. Сказанное Жоресом о Толстом, незаслуженно забытое исследователями, должно занять свое место в литературе о великом писателе.

* Попутно укажем, что Жорес упомянул о социальном учении Толстого и в другой связи. В докладе на тему «Социальные идеи великих писателей-романистов XIX века», прочитанном также в Тулузе 12 февраля 1914 г., он говорит: «Романы Толстого насыщены религиозной и социальной мыслью. Но поскольку он ограничивался своего рода мистическим аскетизмом, из его мысли трудно сделать какие-либо определенные выводы». Доклад известен по отчету, напечатанному в газете «Dépêche de Toulouse» 13 февраля 1914 г. (См. также статью «Jaurès—Critique Littéraire» — «Revue Socialiste». Paris, 1964, № 175, p. 208).

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ДОКЛАД, ПРОИЗНЕСЕННЫЙ ЖАНОМ ЖОРЕСОМ В ТУЛУЗЕ
9 ФЕВРАЛЯ 1911 г.*

Милостивые государины, милостивые государи!

Если бы я захотел раскрыть или хотя бы попытаться раскрыть в предоставленное мне ограниченное время весь смысл творчества и воззрений Льва Толстого и всю сложность его жизни, я оказался бы в крайне затруднительном положении. Творческое наследие Толстого громадно, особенно же сложна и возвышенна его личность. Этот человек, оказавший воздействие на умы и на жизнь всех народов, был и навсегда остался славянином и, прежде всего, до глубины души русским; его идеи не укладываются в рамки идей западного мира. И хотя он пробуждал в людях самые благородные чувства, ни одна религия, ни одна партия или класс не могут считать его полностью своим. Основой его учения была идея все-ленской любви и всеобщего духовного единения, но вся жизнь его прошла в гордом и неприступном одиночестве. Толстой — христианин-революционер, но революционер, боровшийся против всех организованных революционных партий, христианин, восстававший против чудес и против церкви. В известном смысле он дерзновенный новатор, рядом с которым даже революционер-социалист кажется иной раз робким рутинером. И в то же время по многим особенностям своего умственного и духовного склада он принадлежит к людям прошлого и невольно наводит на мысль о представителях некоторых мистических сект первых веков христианства, например, о монтанистах, которые, возвещая близость второго пришествия Христа, порывали пути обыденной жизни.

Я не собираюсь дать здесь детальный анализ сложной личности Толстого; я хочу лишь осветить главную особенность этого человека, то, что лежало в основе его духовного и религиозного стремления, и ту жажду не только лучшего, но и совершенного, которая обуревала, мучила его душу. И, если не ошибаюсь, именно этим Толстой покори́л человечество. Люди чувствовали, что он больше и лучше, чем только писатель, больше и лучше, чем только художник, чем мастер слова и даже чем могучий, непревзойденный творец человеческих образов; они чувствовали в нем человека страстной души, которого терзала мысль о судьбах людей, как она терзает всякого, кто хочет глубже постичь жизнь, а не скользит бессмысленно по ее поверхности. Люди почувствовали, что последние дни великого апостола-мистика были отмечены глубокой внутренней драмой, поэтому трагедия конца его жизни так взволновала их. Но что же произошло, собственно говоря, в эти дни? Почему, каким образом Толстой, уже будучи на пороге смерти, бежал из дома, в котором прожил столько лет?

Куда хотел он уйти, что собирался делать? Здесь кроется, по-видимому, какая-то загадка, которую трудно до конца разгадать; возможно, что в силу тех самых условностей, которые так ненавидел Толстой, превыше всего ценивший абсолютную правдивость, его кончина и была окружена своего рода тайной. Быть может, этот человек, который тридцать лет проповедовал людям полное опрощение и абсолютную бедность, захотел порвать перед смертью со всем, что еще оставалось у него от прежней жизни, от былых связей и давних привычек, и этим отказом от земных благ как бы очистить себе путь к неведомому богу, к которому стремился всей душой; вероятно, это так, хотя Толстой всегда говорил, что учение, которое он проповедует, не требует от него немедленного разрыва с окружающей средой, но обязывает, не меняя обычной обстановки, жить в бедности и самоотречении. Может быть также, в эти последние дни ему припи-

* Перевод О. В. Моисеевко.

лось бороться с возраставшим сопротивлением окружающих? Француз Буланже, по-видимому, довольно близко наблюдавший в течение последних лет и даже последних дней его жизнь, рассказывает, что Толстого огорчали повседневные семейные неурядицы из-за распоряжений, которые он намеревался сделать в отношении своего имущества на случай смерти. За несколько дней до ухода он дольше обычного совершал прогулки верхом, видимо, для того, чтобы успокоиться в одиночестве. Но, как бы то ни было, какова бы ни была непосредственная, истинная причина разрыва, этот разрыв, этот уход прямо или косвенно вытекал из того идеала сурового самоотречения, который проповедовал Толстой. Как трагична, как мучительна мысль об этом великом старце, покидающем ночью тот дом, где он мыслил и любил! Он ушел из дома, он бежал из Ясной Поляны, словно узник из темницы. Услышав ночью, когда он уже лежал в постели, что кто-то из родных роется в его рабочем кабинете, быть может разыскивая завещание, которое так беспокоило его близких, Толстой не выдержал. Он решил уйти, позвал своего врача и вдвоем с ним в темноте прошел через сад в конюшню, чтобы запрячь лошадь и ехать на ближайшую железнодорожную станцию. В саду он споткнулся о пень, упал и должен был ощупью пробираться домой за потайным фонарем и еще раз бежать. Ему, великому свободному гению, пришлось бежать тайком, как преступнику из тюрьмы. Да! В картине этого бегства чувствуется моральная, идейная, мистическая драма, ощущается трагическое противоречие между мыслью, вдохновлявшей человека, и средой, в которой он жил, — вот что привлекло внимание людей и взволновало их. Но в этой трагедии последних дней Толстого нет ничего неожиданного; она была лишь концом, лишь заключительным аккордом того глубокого морального и религиозного кризиса, который тридцать лет тому назад, около 1880 года, потряс и обновил душу и жизнь Толстого. Как же произошел этот кризис, ставший до известной степени основой жизни писателя? Ведь все предшествовавшее как бы подготавливало его, а все последовавшее явилось в некотором роде его завершением.

МИСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Толстому было тогда около пятидесяти лет. Он жил — по крайней мере, так казалось со стороны, — обычной жизнью: крупный помещик, принадлежавший к русской аристократии, воспитанный в богатой и влиятельной семье, он вел в юности довольно праздный, рассеянный образ жизни петербургской аристократической молодежи. Наскучив этой легкой искусственной жизнью, он поступил на военную службу и отправился на Кавказ, чтобы быть ближе к величественной и в то же время милой его сердцу природе, ближе к простым людям, еще не затронутым рафинированной культурой — лжекультурой, по определению Толстого. После Кавказа, проявив себя храбрейшим из храбрых, он принял участие в Севастопольской трагедии. Вернувшись в Москву, он женился и прожил пятнадцать лет спокойной и счастливой семейной жизнью. В этот период им были созданы некоторые из его величайших произведений: повести и рассказы о Кавказе и Севастополе, замечательная национальная эпопея «Война и мир». Богатство текло в его дом; он жил в полном довольстве, в ореоле славы, имел много детей. Его имя было известно всему миру, он пользовался завидным здоровьем. Кое-кто утверждал, что внезапно охватившее его мистическое настроение было следствием скрытого недуга, который поражает иногда человека, достигшего середины жизненного пути, когда жизнь уже начинает клониться к закату. Толстой утверждал, что с ним не произошло ничего подобного; он заявлял, что никогда не чувствовал себя лучше, чем в ту пору, что он мог работать за письменным сто-

лом — писать, сочинять по восемь часов подряд, не испытывая ни малейшей усталости. Писатель не хотел, чтобы умаляли значение того морального кризиса, который он тогда переживал. Что же сказал он себе в один прекрасный день?

Он сказал себе: я счастлив, я обладаю всеми благами мира, как редко кто обладает, и все же мне кажется, что до сих пор я жил, словно в дурном сне, жизнью эгоиста, искусственной жизнью, не задумываясь об истинном смысле человеческого существования, не стремясь сообразовать свое поведение с высшим идеалом. До сих пор я мог жить, не задумываясь об этом, потому что жизнь во мне кипела и опьяняла меня, но вот теперь — хоть я не болен, не устал, не разорился — я чувствую, что внезапно отрезвел,

La Conférence de Jean Jaurès sur Tolstoï

(Sténographiée par MM. Billières, Sauzac et Maury,
de l'Ecole pratique de sténo-dactylographie
18, rue de Metz, Toulouse).

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СТЕНОГРАММЫ ДОКЛАДА ЖАНА ЖОРЕСА О ТОЛСТОМ

Заголовок

Газета «Midi Socialiste» от 10 февраля 1911 г.

и спрашиваю себя: что же такое жизнь? Ее поглотит смерть, и моя судьба — одна из самых блестящих и счастливых человеческих судеб — есть жалкая, ничтожная судьба. Чего стоят блага жизни, которые исчезнут вместе с нею, чего стоят богатства, которые скроет могила? Мне нужно разрешить задачу жизни. Что же говорят мне ученые и философы? Они разъясняют мне взаимосвязь вещей, но они не могут объяснить мне единственную вещь, которая имеет для меня ценность — связь моей души, моего «я», моей сокровенной внутренней жизни с бесконечной и таинственной вселенной. А это — именно то, что я хочу знать. Моя жизнь получит для меня смысл и ценность только в том случае, если я буду уверен, что она связана с чем-то высшим и вечным. А как же отвечают на это философы: в бесконечности, говорят они, происходят свои процессы, то же происходит и в нашем мире; может быть, здесь готовится нечто великое и божественное. Но я, восклицает Толстой, отвечаю им, что это пустые слова, что безграничная вселенная в моих глазах есть не более того, чем она является в глазах этих самых ученых, — то есть безмерное и беспорядочное нагромождение миров и атомов, которые соединяются и снова распадаются.

И если бы Толстому сказали: слейте, по крайней мере, вашу душу с душою человечества, которое идет по пути к новому идеалу, он ответил бы: для того, чтобы познать будущее человечества, чтобы попытаться хотя бы мельком заглянуть в него, мне надо знать о нем все, а я не знаю ничего ни о его появлении, ни о его судьбе. И, наконец, — воскликнул бы он властным тоном славянина-аристократа, — мне нужно ясное решение этой проблемы, окончательное решение, такое, какое меня бы удовлетворило! Так говорит, так вопиет этот мистик в порыве своего беспредельного эгоизма. Мистики необузданно, страстно любят жизнь вообще и свою собственную жизнь, в частности. Порой можно даже подумать, что они

готовы отдать ее, пожертвовать ею. И они действительно готовы это сделать ради идеала, который воспринимался бы ими как лучшая часть их собственного «я»; в таком случае они готовы броситься даже в бездну, но, разумеется, в бездну совершенства. Квиетист всегда склонен к крайностям, он не отступит и перед муками ада, если его пошлет на эти муки доброе божество. Итак, Толстой был охвачен эгоистическим порывом мистика, который жаждет выйти за пределы своей личности, гармонически слиться с вселенной и обрести уверенность в том, что его мысли, творения и поступки войдут в века. Не находя прямого ответа на мучившие его вопросы, Толстой был готов искать прибежища в смерти, покончить с собою и, дабы избежать этого искушения, дабы дожить хотя бы до того дня, когда он окончательно убедится, что загадка неразрешима, он убрал, чтобы не пустить себе пули в лоб, ружье и выбросил из спальни шнурок, чтобы не повеситься.

НЕОБХОДИМОСТЬ СМИРЕНИЯ

Такова была сущность кризиса, в тисках которого два или три года бился Толстой. Он вышел из него путем следующего рассуждения: я не могу жить, потому что жизнь, смысла которой я не понимаю, слишком тягостна для меня. Однако в стороне от привилегированных слоев общества, среди которого я жил до сих пор, существуют миллионы и миллионы других людей. На протяжении веков миллиарды этих людей, задавленных непосильной работой, бедностью, лишениями, болезнями, все же находили средство нести бремя жизни, не сломившись под его тяжестью и не впад в отчаяние. И, оглядываясь на массы этих людей, Толстой говорил себе: они жили и могли жить, потому что смирились, потому что верили, потому что некая великая традиция поддерживала в них всю силу христианской веры. Но я не хочу разделять их предрассудки и суеверия, я не верю и не поверю в их чудеса, не верю и не поверю в мифы, составляющие оболочку христианства. Пусть мне не рассказывают сказок о рождении Христа или о чуде его воскресения; пусть священник, причащающий меня, не уверяет, будто я вкушаю тело и пью кровь Спасителя. Это — младенческая символика и младенческая мифология, но из этих символов и мифов я хочу извлечь сущность веры, сущность смирения, единения людей в любви, единения их в боге и с помощью бога, а это и составляет подлинный дух и основу христианства; и тогда, не ставя себе более вопросов о фантастике, безумии и мифах, нашедших отражение в великом потоке христианской традиции, я погружусь в этот поток, я омоюсь в нем, чтобы снова найти в его водах чистоту, силу и жизнь. И Толстой объявил, что отныне руководящим началом его жизни становится Евангелие, но не православное Евангелие, не Евангелие церковников, а извечное Евангелие, близкое сердцу бедняков. И дабы уверовать в него, как веруют эти люди, он сказал себе: я должен стать таким, как они, я должен истолковать Евангелие в соответствии с его суровой моралью. До сих пор люди из малодушия или эгоизма приспособляли Евангелие к себе. Евангелие говорит им: будьте бедными, а они воображают, что могут быть богачами, оставаясь христианами. Евангелие говорит им: господь позаботится о людях, как заботится о птицах небесных. Евангелие несет им слова мира и любви. А миллионы людей, которые считают себя христианами, сами грабят, мучают своих братьев и побуждают людей разных классов и разных наций убивать друг друга. Так вот, я... (*Бурные аплодисменты заглушают голос оратора.*)

... Я, говорит Толстой, призываю людей, не считаясь с законами и с церковниками, жить по-евангельски. Я не говорю им: подчинитесь! но и не говорю: примените силу! Я хочу, чтобы они мирными средствами

добились мирной жизни и установили ее. Я не хочу, чтобы угнетенные проливали кровь богачей; я хочу, чтобы они ограничились пассивным сопротивлением, чтобы они ограничились отказом подчиняться несправедливым властям, и, в тот день, когда миллионы бедняков, не уподобляясь богатым и не совершая насилий, как это свойственно богатым, без трагической революции по западному образцу откажутся быть орудиями несправедливости, войн и убийств, — в этот день старые власти, опирающиеся на ложь и угнетение, падут сами собой. Вот к какой теории, к какому анархизму, проповедующему одновременно бунт и смирение, вот к какому традиционному и в то же время революционному христианству пришел Толстой. Но если вы подумаете, господа, что этот кризис был чем-то неожиданным, значит вы не поняли Толстого. В самом деле стоит перечесть, в свете той духовной, той морально-религиозной драмы, которая совершилась в душе Толстого около 1880 года, ранние произведения писателя, то, что было создано им в светский, если можно так выразиться, период жизни, и вы убедитесь, что уже тогда все написанное этим благородным, исключительным человеком клонилось к той же цели, предвещало тот же кризис. В его предшествующем творчестве вы сразу почувствуете ту же страстность, ту же необузданную любовь к жизни — эту характерную черту мистифизма.

ЕГО СТРАСТНОЕ ЖИЗНЕЛЮБИЕ

Уезжая на Кавказ, Толстой, которому едва исполнилось тогда 20 лет, уже отмечал необычайную интенсивность своей внутренней жизни. Я чувствовал, писал он, глубокую и горячую любовь к себе самому, ко всему тому доброму и прекрасному, что было во мне и могло развиваться. И, наряду с этим страстным жизнелюбием, Толстой, еще ребенком и подростком, серьезно и даже трагично относился к теориям, которые могли объяснить ему смысл жизни. Для него, поверьте, они не были, как для наших бакалавров (*смея в зале*) и кандидатов философских наук, простой фразеологией, не затрагивающей ни ума, ни сердца. Читая сочинения стоиков или изложение их философии, Толстой говорил себе: мне надо научиться и самому жить, как стоики. И в течение долгих недель и месяцев — пока он находился под влиянием этих идей — он подвергал себя лишениям, испытаниям и самобичеванию. Потом в сочинениях английских или немецких философов он прочел, будто мир есть не что иное, как фантазмагория, и все, что мы якобы видим и слышим, является лишь чудовищной галлюцинацией, проекцией нашей собственной личности, что в действительности мир — только иллюзия нашего «я», которое распространяется, проявляет себя вовне. Одно время он был настолько увлечен этой идеей, что в своей детской наивности, не лишенной, впрочем, философской серьезности, иногда быстро оборачивался в надежде, что собственное «я» не успеет проецироваться вовне, и он захватит врасплох всемирное небытие во всей его наготы.

Я привел этот поступок, который может показаться ребячеством, чтобы подчеркнуть, с какой своеобразной, необычной страстностью юный Толстой стремился постичь проблему жизни. Так же рано пробудилась в нем страстная непримиримая любовь к правде, мы видим это и в его Севастопольских рассказах, и в изображении той смеси слабости и величия, которая свойственна каждому человеку. Он говорит: в моих произведениях нет героев; все люди хороши и все плохи; у меня есть и будет только один герой — правда. И тогда же в его душе проснулась страстная тяга к простоте, ненависть к светской жизни, к искусственно усложненному существованию и он отправился на Кавказ, чтобы приобщиться к примитивной простоте тамошних людей и к величественной и вместе с тем простой

кавказской природе. В его книге о Кавказе есть захватывающая, великолепная страница, которая помогает уяснить тождество того, что я называю страстным жизнелюбием и жертвенностью.

Однажды жарким летним днем Толстой, охотясь в одиночку, заблудился в незнакомом лесу и остановился под деревом. Тут на него налетели мириады мошек, они облепили его и стали безжалостно жалить, и в конце концов довели до иступления. Он готов был кричать от бешенства, но вдруг подумал: ведь местные жители переносят все это, свыклись с этим, почему же я не могу этого перенести? И укусы мошкары сразу стали для него менее надоедливými, менее болезненными. Потом он задумался над всем этим живым миром, которым кишмя кишит лес. И ему пришло в голову: ведь каждая из миллионов мошек может сказать о себе: «я», как и он сам, Толстой, говорит о себе: «я»; их жужжание и писк означают, может быть, звук боевых фанфар всей этой армии крошечных насекомых, подающих сигнал к атаке на гигантскую дичь, заблудившуюся в лесу. И он почувствовал себя не более как атомом, одним из неисчислимых существ, крошечным, эфемерным, ничтожным «я», затерянным среди миллионов других эфемерных созданий, таких же ничтожных и ограниченных, как и он сам. Существует лишь одно средство избавиться от небытия: познать себя, возвыситься над собой. И Толстой подумал: жизнь не получить смысла, пока я не буду готов пожертвовать собой ради других. Ограниченный эгоист затеряется среди мириадов таких же эгоистов, но если он научится самопожертвованию, то станет выше всех, превзойдет их, будет главенствовать над ними и приобщится через их головы к чему-то истинному и вечному. Так, в девственном лесу Кавказа в двадцатипятилетнем Толстом уже бродили ферменты того великого мистического кризиса, который разразился лишь двадцать пять лет спустя. (*Аплодисменты.*)

Заметьте, какое огромное место занимает лес в творчестве Толстого. Почему он говорит о вдохновении, охватившем его в лесу, не только в своей книге о Кавказе, но и в «Исповеди»? Да потому, что лес, в его глазах, обладает удивительной символической мощью, потому что в нем не только кишит жизнь, но и кроется тайна. Итак, уже в ту пору великие религиозные проблемы волнуют Толстого, отсюда и его любовь к описаниям грандиозных картин войны, ибо на войне люди в расцвете лет поминутно оказываются, так сказать, на пороге, на грани величественной тайны; вот почему в его Севастопольских рассказах и в романе «Война и мир» вы видите, как переживания человека на войне неизменно претворяются в мистические порывы, в могучие порывы религиозной надежды.

СОЛЬ ОКЕАНА

Господа! Читая Толстого, нельзя не заметить, что нравственные проблемы играют первостепенную роль даже в его художественных произведениях. Неодушевленный мир интересует писателя лишь постольку, поскольку это связано с его интересом к духовному миру человека. Толстого нельзя сравнивать в этом отношении ни с Бальзаком, ни с Жорж Санд, ни с Флобером, ни с Золя. Бальзака, при идеалистическом и спиритуалистическом характере его творчества, интересуют вещи как таковые; старые дома, которые он описывает, словно существа, живущие самостоятельной жизнью, представляют для него интерес сами по себе, а не только потому, что в этих домах происходят человеческие драмы. В произведениях Жорж Санд встречаются великолепные лирические излияния, когда душа человека сливается с природой и, так сказать, забывает о своей судьбе. У Флобера на первом месте стоит забота о художественной форме, а к несчастному и серенькому роду человеческому писатель чувствует

презрительную жалость. Золя иной раз рисует яркие картины, но эти картины лишь поверхностно связаны с душевной жизнью действующих лиц. Вспомните, как в «Странице любви» молодая женщина время от времени бросает взгляд с вершины холма на громадный Париж с его крышами, похожими на застывшие морские волны. Этот образ запоминается, но не западает в душу. Изображая мутный людской поток, текущий по парижским бульварам, и глухо kloкочущие в нем плотские вожделения, писатель показывает, что его герои захвачены этим потоком и не могут из него выбраться. Напротив, как я уже сказал, мир неодушевленных предметов привлекает Толстого лишь постольку, поскольку он помогает ему раскрыть души людей, жизнь каждой отдельной души. В его произведениях почти нет живописных описаний. В «Войне и мире» он рассказывает о передвижениях армий по Европе, приводит своих героев к подножью холма, где декабрьской ночью в лагере Наполеона зажигаются огни Аустерлица. Но он не задерживается на описаниях; природа появляется в его произведениях лишь тогда, когда он хочет показать душевное состояние человека. Вот юноша стоит на мосту, переброшенном через Дунай, вокруг него падают ядра; вдруг он замечает нежную окраску неба на горизонте и задумывается над контрастом между спокойным сиянием жизни и витающей над ним мрачной тайной смерти. Так и князь Андрей, тяжело раненный на Прапеченской горе в тот самый момент, когда в голове его роились мечты о торжестве и славе, теряет на минуту сознание, потом приходит в себя и, лежа на спине, видит словно впервые синее небо, глубокое вечное небо, небо, полное тайны и света, и удивляется, что никогда до сих пор не подозревал о таинственной сияющей глубине этого синего неба с плавающими по нему легкими облаками. Итак, внимание Толстого неизменно привлекала душа человека, и никогда, даже рисуя пустоту и суетность великосветских салонов, он не принижает эту душу. Описывая осаду Севастополя, он показывает солдат и офицеров, которые иногда, забыв обо всем, играют, пьют и ссорятся между собой. И Толстой говорит: что поделаешь, священный огонь не может вечно гореть в душах людей, но он всегда готов вспыхнуть и озарить своим светом их дела. Когда же Толстой в искусственную атмосферу светских салонов вдруг вводит детей с их наивностью и очарованием, с их люющей через край жизнерадостностью, кажется, будто на вас внезапно повеяло свежестью лесного родника и будто душа писателя радуется вместе с вами.

Так во всех его произведениях, наряду с уважением к человеку, даже к падшему человеку, наряду с внезапными обращениями к вопросам тайны бытия, которые рождаются в людях страданиями и мыслью о смерти, бьет неиссякаемый источник веры. И творчество Толстого, столь обширное и вместе с тем столь совершенное, представляется мне лесом, где каждая травинка — зеленая или засохшая, каждый листок — свежий или увядший, каждое гнездо — населенное птицами или разоренное — окутано то нежной небесной лазурью, то таинственным светом звездных ночей. (*Аплодисменты.*)

Вот почему во всех произведениях Толстого чувствуется, предугадывается тот великий мистический кризис, о котором я говорил. Кризис этот не дал ничего нового; он лишь выявил, сделал ощутимыми те мистические элементы, которые до сих пор были растворены в великом потоке жизни, в непосредственно получаемых от нее впечатлениях. Фанатический мистицизм, который вспыхнул в душе Толстого около 1880 года, был как бы всеиспепеляющим солнцем, высушившим океан и оставившим на дне только соль.

Но, как соль всегда находится в океане, так и суровая непримиримость могучей и гордой мысли великого писателя всегда была присуща его произведениям.

ЕГО ХРИСТИАНСТВО

И вот теперь, когда этот кризис позади, какие же выводы можно из него сделать, что дает он, к чему приводит? Если мы подвергнем творчество Толстого, его религиозную и социальную философию, оформившуюся после 1880 года, строгому логическому анализу, — она вряд ли сохранится в неприкосновенном виде. В ней содержится множество противоречий и прежде всего больно и тяжело видеть, как сам Толстой, стремившийся утвердить, вопреки требованиям повседневной жизни, абстрактный и абсолютный идеал и привести нас к внутренней гармонии, был не в силах преодолеть мучительных сомнений и неразрешимых противоречий. И далее. Что представляет собой его христианство и жизненно ли оно? Оставаясь в рамках традиционного учения, он произвел внутри него отбор, но то христианство, во имя которого он требует самоограничения человеческой воли, есть не что иное, как искусственное, им самим, Толстым, созданное учение. Он лишает христианство его истоков. Он не хочет слышать о Ветхом завете, забывая, что Новый завет вырос из Ветхого завета, как колос вырастает из зерна. Он отрицает мессианский характер пророчества о царстве божьем, и его христианство существует вне времени и пространства. Да, но если суть христианства заключается в любви к людям и к богу, если в нем нет ничего другого, если евангельские книги представляют собой, как говорит Толстой, сборники зачастую нелепых и вредных рассказов, — откуда ж берется у Толстого та почти сверхчеловеческая властность, с которой он повелевает нами и призывает нас принять это учение? И если христианство действительно таково, в чем же тогда его отличие от других великих религий, созданных человечеством — браманизма, буддизма, ислама? И в самом деле Толстой вынужден признать за всеми этими верованиями одни и те же религиозные достоинства. Но как, все-таки, установить различие между ними? Как придать их догмам силу и власть над людьми? Тут уже необходимо вмешательство разума, и, таким образом, традиционное божественное откровение неизбежно должно уступить место ненадежному, недостаточному, но необходимому усилию разума, того самого разума, который рассматривается, по-видимому, Толстым как нечто низкое и недостойное.

А как противоречива любовь Толстого к народу! Его влечет к народу, он любит его, хочет помочь ему и облегчить его участь; он подражает ему в набожности и смирении. Но почему? Да потому, что в его представлении народ кроток и смиренен. Однако Толстой хорошо знает, что этот самый народ с незапамятных времен стонет под гнетом несправедливости; и он хорошо знает также, что народ не сбросит этого гнета, пока не подыметься; но здесь мы сталкиваемся с вопиющим противоречием: Толстой, который любит народ, скорбит о нем, восторгается им, отвернулся бы от народа, если бы тот перестал быть покорным или отказался от пассивного сопротивления, которое он хочет ему навязать.

ЕГО ИДЕАЛ

Итак, каков же идеал, который он предлагает человечеству? В сущности это архаический идеал. Толстой был знаком с идеями Запада; он знал наших писателей и был в курсе современной науки. Из всех европейских писателей он больше всего любил и больше всего восторгался Руссо, потому что тот советовал людям вести простую жизнь и был противником всех сложностей искусственной современной цивилизации. Но, в общем, если Толстой и знал Запад, он относился к нему с недоверием и осуждением. Он отрицал демократию; в его глазах демократия означала не более чем демократизацию прежней коррупции, которая в старое время остава-

«ТОЛСТОЙ И НИКОЛАЙ II»

Карикатура французского
художника Луи Морена
Литография

«Assiette au Beurre», 1901



лась в пределах олигархии. Толстой более чем равнодушно относился к науке, научным изысканиям, научным изобретениям и, что представляется нам весьма странным, в равной степени с презрением и осуждением отзывался о броненосцах, телеграфе, бомбах, электрических и железных дорогах и всех прочих столь же, по его словам, вздорных, сколь и вредных измышлениях.

Я прекрасно знаю, что нужно бороться против всех суеверий, в том числе и научных; я прекрасно знаю, что следует напоминать людям о том, как часто даже самые изумительные научные открытия искажались людскою алчностью и становились орудиями угнетения и эксплуатации, лишь увеличивая бремя нужды и несправедливости. (*Громкие аплодисменты.*) Я знаю все это, и нужно быть благодарным тем людям, которые несут в наши города, где скапливается столько нездоровых страстей, столько незаслуженных несчастий и столько беспросветной нищеты, чистое, свежее дуновение, словно долетевшее из девственных лесов, великое дуновение, некогда пронесшееся над прекрасными озерами Галилеи. Я знаю это, но я знаю и то, что, если мы хотим идти вперед, подниматься все выше и выше, мы не должны проклинать ни демократию, ни науку; их надо возвышать, преобразовывать, развивать; надо, чтобы политическая демократия превратилась в демократию социальную. (*Аплодисменты.*)

Толстой так и остался сыном Востока; он сожалел о том, что русская революция пошла по пути западных революций. Его пугал сначала подъем промышленности, затем подъем демократии; он хотел, чтобы одно только сельское хозяйство развивалось и при этом на общинной основе. Но остановить мировую революцию нельзя: промышленность растет, и даже на Востоке, даже в России, где промышленный пролетариат разбудил от долгого сна крестьянские массы, даже в Персии, в Индии, Японии и Китае — на всем дремавшем донныне Востоке кипит лихорадочная деятельность европейцев со всеми ее пороками, преступлениями и жестокостями,

но также и с ее великими делами, которые распространяются на весь мир. Повсюду народы пробуждаются и рвут свои цепи. Итак, не путем отказа от промышленного производства, а путем его организации на основе новой справедливости, сумеем мы сохранить равновесие в нашем непрерывном движении к прогрессу.

РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

Однако каковы бы ни были мои критические замечания и оговорки, попутно мною сделанные, все мы, люди борьбы, или, если позволите расширить это понятие, все мы, живые люди, должны быть бесконечно благодарны человеку, который напомнил всем нам, вне зависимости от рода наших занятий и от нашего общественного положения, о моральном смысле и значении жизни. В тесных рамках нашего жалкого существования нам легко забыть о глубоком и таинственном смысле жизни. Много раз в нашем огромном Париже я думал о том, что здесь едва ли можно увидеть звезды, но если, несмотря на узость, тесноту улиц и нависшие над ними крыши, звезды все же удастся разглядеть, их далекое сияние меркнет от резкого света уличных фонарей. Так вот, почти на всех предприятиях, почти во всех отраслях промышленности, во всех классах общества хозяин поглощен делом руководства, прибылями и лежащей на нем ответственностью; рабочие погружены в мрачную бездну нищеты и поднимают голову и открывают рот лишь для того, чтобы крикнуть слова призыва и протеста; мы же, политики, захвачены борьбой и погрязли в повседневных интригах, — и все мы склонны забывать о том, что прежде всего мы — люди, то есть сознательные существа, самостоятельные и, в то же время, эфемерные, затерянные в бесконечной и таинственной вселенной; мы склонны забывать о значении жизни и с пренебрежением относиться к поискам ее смысла; мы склонны недооценивать истинные блага — душевный покой и безмятежность духа. Толстой помогает нам поднять голову к усеянному звездами небу, найти смысл в простоте, в чувстве товарищества, в глубокой и таинственной жизни. И вместе с тем он предостерегает нас. Он предостерегает консерваторов. Этот человек далек от того, чтобы быть революционером в общепринятом смысле слова, или неистовым разрушителем, каким он кажется иногда. И вот он, проповедник мира, любви, обновленного христианства, предостерегает консерваторов, говоря, что современный общественный строй не может дольше существовать, что этот строй падет не только в результате гневных требований угнетенных, но и в результате глубокого возмущения людей с благородной душой, которых подавляют низости, бедствия и нищета, свойственные нашему обществу.

Я позволю себе напомнить вместе с Толстым один псалом и сказать людям: будьте настороже, обдумывайте свои действия, трудитесь, мыслите, создавайте братские организации, чтобы социальная революция, приход которой неизбежен, прошла мирно. Псалмопевец говорит о боге: «Взойду ли на небо — ты там; сойду ли в преисподнюю — и там ты»^{*}; ни на Востоке, ни на Западе не скроешься от его взора. Я тоже говорю вам: революция здесь, она повсюду; она в организациях тех, кто страдает, она в протестах тех, кто мыслит.

Вейния, идущие с Востока и Запада, гнев западных пролетариев, восточная мистика Толстого — все эти ветры сливаются в бурный вихрь, несущийся над старым миром, прогнившим, подточенным, как ствол старого больного дуба.

Работайте же над установлением нового, более справедливого общества.
(Продолжительные аплодисменты.)

^{*} Псалом Давида 138, ст. 8 и 9 (последний перефразирован). — Н. Э.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ТОЛСТОЙ НА СТРАНИЦАХ «HUMANITÉ»
В ПЕРИОД РЕДАКТОРСТВА ЖОРЕСА

(18 апреля 1904 — 31 июля 1914 г.)

Центральный политический орган французских социалистов с самого начала своего существования (первый номер вышел 18 апреля 1904 г.) уделял серьезное внимание вопросам литературы. Из номера в номер здесь печатались произведения виднейших писателей прошлого XIX в. и современных — начала XX в. Газета систематически помещала информацию и отзывы о новинках художественной литературы и книгах социально-экономического, исторического и философского содержания, освещала наиболее важные события литературной жизни.

Естественно, что основное место предоставлялось отечественной — французской — литературе, но газета открывала свои страницы и зарубежной литературе, в том числе, и не в последнюю очередь, русской.

Кроме произведений Толстого, о чем ниже, в рассматриваемый период в «Humanité» были напечатаны переводы из Тургенева, Чехова, Короленко, Горького и Леонида Андреева. Газета знакомила своих читателей с положением русской печати, с условиями жизни и труда писателей в царской России, сообщала о цензурных репрессиях, о фактах преследования писателей, проводила кампании в их защиту и т. п.

Среди материалов, посвященных «Humanité» иностранным авторам, — материалы, относящиеся к Толстому, по количеству и разнообразию тематики, стоят на одном из первых мест. Приводим основной их перечень.

В годы редакторства Жореса в газете были опубликованы следующие сочинения Толстого:

«Не могу молчать» — в изложении и выдержках в тексте статьи Жана Лонге (1908, 16.VII, № 1551: J. L. Tolstoï dénonce l'œuvre de sang. Une lettre du grand écrivain aux bourreaux du peuple russe). «По поводу заключения В. А. Молочникова» (1908, 9.VIII, № 1574: Tolstoï proteste. Il demande à être suivi). «Письмо к судебному следователю 19 участка г. Петербурга» от 27 февраля 1909 г. в тексте статьи Леона Реми (1909, 27.V, № 1866. Léon Rémy. Un jugement vraiment russe. L'éditeur de Tolstoï condamné). «Праведный судья» (1910, 28.XI, № 2416). «Воскресение» (1912, роман печатался, с краткими перерывами, ежедневно 24.VII — 9.XII, №№ 3020—3158).

Публикации о Толстом начали появляться в «Humanité» с первых же дней существования газеты. Уже во втором номере мы находим заметку о студенческих годах жизни писателя (1904, 19.IV, № 2). В том же году газета поместила: главу о Толстом и Достоевском из книги Октава Мирбо «Русская душа» (1904, 1.V, № 14, «L'Âme Russe»); сообщение о предстоящем выходе в свет на французском языке статьи Толстого «Одумайтесь!» (1904, 28.V, № 41); рецензию на книгу Ж. Бурдона «Внимая Толстому» (1904, 12.X, № 178. Georges Bourdon. En écoutant Tolstoï. Paris, 1904. Отрывок из этой книги см. в кн. 2-й настоящ. тома); заметку о подписке, открытой художественным журналом «Ереув» на памятник Толстому в Париже, заказанный скульптору Паоло Трубецкому (1904, 18.XII, № 245) и др.

Выступления Толстого в печати в годы первой русской революции, привлечение пристальное внимания общественности Запада, нашли отклик и в «Humanité». Газета познакомила своих читателей с суждениями Толстого о революции, которые он изложил в интервью с корреспондентом английской газеты «Manchester Guardian» («Tolstoï et la Révolution», 1905, 13.II, № 302) и в статьях: «Об общественном движении в России» («Un Article de Tolstoï», 1905, 11.III, № 328); «Великий грех» (Les Révolutionnaires et Tolstoï, 1905, 12.VIII, № 482. — Перепечатка в выдержках рецензии из журнала «Tribune Russe» — органа русских политических эмигрантов); «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу» («Un appel de Tolstoï», 1906, 21.II, № 675); «О значении русской революции» (1907, 4.XI, № 1296 — рецензия

Г. Руане на французский перевод статьи). «Humanité» подвергает суровой критике взгляды Толстого. Его категорическое отрицание всех либеральных реформ, недоброжелательное отношение к революционерам, отказ от революционной борьбы и призыв к «непротивлению злу» встретили резкий отпор газеты, а его практические предложения, в частности по земельному вопросу, характеризуются ею, как «наивные».

Особенно жесткую оценку получила позиция Толстого в статьях, подписанных инициалами J. L. и принадлежавших Жану Лонге *, в то время одному из ближайших сотрудников «Humanité». «Трудно, — пишет Лонге, — представить себе более печальное зрелище, чем то, которое являет граф Лев Толстой перед лицом огромных событий, совершающихся на его родине <...>, творец стольких подлинных шедевров обнаруживает меньшее понимание современного положения, нежели самый скромный петербургский или московский пролетарий <...> Ни один из могучих гениев литературы не оставался еще столь далеким душе своего народа в трагическую для народа минуту, так глубоко не расходился с мнением, получившим общее признание» (J. L. L'Incompréhension de Tolstoï. 1906, 20.IX, № 886). Это не мешало, однако, ни автору приведенных строк, ни другим сотрудникам «Humanité» прибегать к публицистике Толстого, с ее гневными обличениями существующих порядков, как к оружию политической борьбы. Вопросы, поднятые Толстым, становились темами злободневных статей газеты, написанное им цитировалось, а иногда и целиком вводилось в текст этих статей. (См., например, статью Ж. Лонге, написанную в связи с появлением «Не могу молчать» Толстого. Текст Толстого Лонге включил непосредственно в свой. — 1908, 16.VII, № 1551.)

Взгляд, которого придерживалась в отношении Толстого «Humanité», четко сформулировал тот же Лонге. «У нас, социалистов, — писал он в статье, посвященной дню 80-летия Толстого, — есть, разумеется, серьезные возражения против учения этого кроткого коммуниста-утописта, христианина и защитника „непротивления злу“ — тому капиталистическому злу, с которым пролетариат всего мира ведет непреклонную и неустанную борьбу <...> Невзирая на это, Толстой наш; свою ненависть к угнетению, нищете, к проституции, войне, ко всем бедствиям, неизбежно порождаемым капитализмом, он наш» (1908, 10.IX, № 1606. — Подчеркнуто мною. — Н. Э.).

80-летие Толстого было широко отмечено французской прогрессивной общественностью. В Париже был организован специальный подготовительный комитет для проведения юбилея, куда, в числе других лиц, вошел и Жорес (т. 78, стр. 75). Знаменательная дата послужила поводом для французских социалистов выразить через «Humanité» свое восхищение Толстым как художником и свое глубокое уважение к нему как человеку. Среди юбилейных материалов здесь впервые появилась на родном языке известная статья — приветствие Толстому Анатоля Франса. (Русский перевод см.: А н а т о л ь Ф р а н с. Собр. соч., т. 8. М., 1960, стр. 718—719.)

Наряду со статьями «Humanité» эпизодически помещала информацию о Толстом. Так, в газете было опубликовано письмо к Толстому М. А. Стаховича, отправленное в конце ноября 1904 г. из действующей армии, где Стахович находился во время русско-японской войны, и описывающее тяготы и бедствия войны (1905, 18.III, № 335).

Здесь была напечатана рецензия на постановку «Театром Антуана» психодриевки романа Толстого «Анна Каренина» (1907, 31.I, № 1019). Газета сообщала о болезни Толстого (1908, 27.VIII, № 1592); об аресте его секретаря Н. Н. Гусева (1909, 24.VIII, № 1955); о судебном преследовании Е. В. Герцика за издание и распространение сочинения Толстого «Правда божия внутри вас» (1909, 15.XII, № 2068) и т. д.

События последних недель жизни, болезнь и смерть Толстого получили взволнованный отклик на страницах «Humanité». Эти отклики освещены в книге Б. Мейлаха Уходи смерть Толстого. М. — Л., 1960, стр. 323—324 и в обзоре Л. Р. Ланского в кн. 2-й настоящ. тома, и мы не будем поэтому их касаться.

В те же годы в газете было воспроизведено несколько портретов Толстого (см. 1907,

* Принадлежность Жану Лонге статей, напечатанных под инициалами J. L., подтверждена нынешним генеральным секретарем «Humanité» Мари Роз Пино, за что автор приносит ей свою благодарность.

22.IX, № 1253; 1908, 16.VII, № 1551, 10.IX, № 1606; 1910, 18.XI, № 2406, 21.XI, № 2409).

Имя Толстого не исчезает со страниц «Humanité» и в последовавшие за смертью писателя годы. Помимо материалов мемориального характера, появившихся в первые месяцы 1911 г., здесь было напечатано объявление о назначенной на 18 января 1911 г. в Париже, в помещении «Общества ученых» лекции Ленина «Лев Толстой и русское общество» (1911, 17.I, № 2466) и сообщение о подготовляемой к печати Б. Гинодо биографии Толстого (1911, 7.II, № 2487).

В 1912 г., приступая к печатанию «Воскресения», газета предпослала публикации романа большую, содержательную статью Анжели Дюк-Керси (Angèle Ducques. Résurrection. 1912, 24.VII, № 3020). Статья представляет несомненный интерес и тем более заслуживает внимания, что это единственная оценка художественного произведения Толстого на страницах «Humanité» в рассматриваемый период.

Дюк-Керси называет «Воскресение» «самым волнующим из всех сочинений Толстого». Вся книга, пишет она, проникнута «глубочайшим состраданием к человеческому горю» и многие ее страницы нельзя читать «без мучительной душевной боли».

Автор характеризует «Воскресение», как новый тип романа — в нем нет банальной интриги, сложного развития сюжета, необычайных ситуаций. Это простой рассказ о двух людях, судьбы которых столкнулись. Но рассказ развертывается на фоне огромной, многоплановой картины русской жизни, где каждый образ показан с его общечеловеческими, национальными и индивидуальными чертами. Перед нами, пишет критик, сама жизнь во всей ее сложности, со всеми ее радостями и печальми.

Дюк-Керси сближает «Воскресение» по идейной направленности с «Отверженными» Виктора Гюго. В обоих произведениях, говорит она, искусство служит «сильнейшим оружием пропаганды и борьбы».

Автор делится далее воспоминаниями о посещении Ясной Поляны *, о беседе с Толстым, в которой писатель с увлечением говорил о своей работе над «Воскресением», тогда еще не завершенной. Она знакомит с историей написания романа и т. д.

Останавливаясь на религиозных тенденциях «Воскресения», Дюк-Керси поясняет, почему социалистическая газета не ослабила этих тенденций, а напечатала роман полностью, без единой купюры: «Пусть, — пишет она, — религиозные тенденции, отнюдь не сильная сторона произведения (...), пусть даже они нарушают в ряде случаев его гармонию (...) — нельзя вычеркнуть из текста ни одной строки, ни одного слова, не погрешив против жизненной правды, здесь отраженной. Вандалы, которым пришлось не по вкусу антимилитаризм Толстого, изуродовали „Воскресение“. Мы же полагаем, что (...) этот труд должен остаться неприкосновенным, каким он был выстрадан и пережит художником, его создавшим». Дюк-Керси напоминает, что «предтечи 1848 года также злоупотребляли ссылками на Евангелие», а Толстой за свое религиозное учение был отлучен от церкви. В заключение критик предлагает рабочему-читателю «Humanité» прочесть «Воскресение» — книгу, «правдивая красота» которой «ослепляет».

Приведенная статья завершает материалы о Толстом, опубликованные в «Humanité» в период редакторства Жореса. Знакомство с ними показывает, что, не разделяя мировоззрения Толстого, резко осуждая в отдельных случаях его позиции, газета Жореса видела в Толстом не только великого художника, но и союзника в деле создания нового, лучшего социального строя и развития духовной культуры.

* 5 октября 1898 г. С. А. Толстая записала в дневнике: «Были интересные французы: m-g и m-me Duc de Gergu. Социалисты крайние, поджигатели стачек в Париже, люди не религиозные, но очень пылкие, дружные друг с другом; настоящие французы по живости, темпераменту, способности жить для своей цели и вне себя» («Дневники Софьи Андреевны Толстой (1897—1909)». М., 1932, стр. 85). Упоминаемые С. А. Толстой посетители Ясной Поляны, очевидно, супруги Дюк-Керси.

Дюк-Керси — социалист, один из основателей (вместе с Гедом и Лафаргом) французской Рабочей партии. Превосходный оратор, неоднократно выступавший в защиту бастующих рабочих. В 1892 г. за свою политическую деятельность был приговорен к тюремному заключению. Первоклассный журналист. До первой мировой войны был много лет генеральным секретарем «Humanité».